

Когда верхушки нашего неба сомкнутся,
У моего дома будет крыша.

Поль Элюар

Место для своего дома я выбрал второпях.

Вроде бы давно приглядывался к различным ландшафтам, мысленно ставил свой дом то в горах, то на берегу моря. Я видел его деревянным, с небольшими окнами и чердаком, на котором будет копиться хлам, интересный для будущих поколений. Мне нравилось представлять его стены, окна и крыльцо со скрипучими ступенями на фоне разных красивых пейзажей.

Неплохо смотрелся будущий дом в урочище Кызыл-Кая на солнечном и ярком Горном Алтае. Я специально повёл в это место любимую, когда мы задержались на кордоне Чодро во время наших летних таёжных странствий. Это было ещё в двухтысячном году.

На кордоне лесничий Володя Труляев с женой Диндилькой попросили нас посидеть с тремя их детьми, пока они съезжают в деревню к родственникам на свадьбу. Мы с Володей вместе работали раньше на этом кордоне, потом я уехал, а он стал начальником лесничества.

Несколько дней кормили Володиных детей, играли и гуляли с ними, любимая расчёсывала девочкам волосы, затягивала бантики, по вечерам, перед сном я пытался рассказывать самодельные сказки, от которых любимая засыпала через минуту, а дети только возбуждались, возились в постелях и толкали друг друга.

После возвращения Труляевых и сдачи детей родителям мы с любимой вдвоём пару недель собирали сброшенные олени рога вдоль реки Шавлы, живя в таёжных избушках. Рога тогда хорошо покупали коммерсанты и сбывали их корейцам.

И вот, перед тем, как отправиться обратно в Москву, мы сходили в Кызыл-Каю. Кызыл-Кая значит «красная скала». Река Чулышман отступает там от солнёчного склона, между берегом и склоном – ровные поляны, у воды стоят толстые, очень домашние берёзы. В тени этих берёз перед домом могли бы играть наши дети. Я бы с ними иногда поднимался на красные скалы и обозревал сверху, словно с вертолётa, те места, которые станут для них родными.

Чулышман бежит дальше вниз, к северу, к Телецкому озеру по долине, на которой ещё видны следы древних орошающих каналов. В полусотне таёжных заповедных километров к востоку – Шапшальский хребет, за которым Тува. На юге в высокогорной тундре стоят курганы скифского времени. Вокруг яркий, золотой, масляный Алтай. Лес полон звериных тайн, воздух сухой и бодрый, и за год едва ли насчитаешь месяца два пасмурных дней.

Я показал любимой невидимые пока стены дома, мы постояли у дверей, окинули взглядом то место, где будет стайка для коровы, где огород, присмотрелись к будущей летней кухоньке, обнесли наш участок оградой. Я даже начал стаскивать в сторону валявшиеся на дворе берёзовые ветки. Поглядели на воду, которая быстро бежала мимо нашего возможного дома, и я заволновался, как бы будущие дети не загремели с галечного уступчика в коварный стремительный Чулышман.

На обратном пути я рассказывал ей, как зимой Колька Колпаков на тракторе стаскает по льду сюда, в Кызыл-Каю, брёвна для постройки. Как будет пахнуть смолой наше новое жилище. Как к нам в гости на рыбалку будет приезжать из Язулы Альберт Кайчин, мой старый друг, которого она тоже очень любит. Я даже честно предупредил заранее, что в зимние короткие дни солнце слишком быстро скрывается за склонами узкой и глубокой

долины, но уют этого дома пересилит все маленькие возможные неудобства, и шум Чулышмана станет для нас необходимым звуком, без которого мы будем скучать.

Любимая задумчиво слушала, но, насколько я знаю из её объяснений, ей важнее не то, что именно я говорю, а то, как я это делаю. Наверное, я говорил недостаточно твёрдо и ответственно.

Нам так и не довелось больше оказаться в этом чудесном месте.

Сон-остров гораздо ближе к Москве, чем Кызыл-Кая, на две с половиной тысячи километров ближе.

По величине остров ненамного больше полян Кызыл-Кайи. Он закрывает от ветра бывшую деревню Сон-остров, где раньше отсыпались во время долгих штормов мореходы. От этого ли его так называли или так пытались объяснить название, пришедшее из финского, саамского или вообще какого-нибудь вымершего языка? Для меня это место и вправду больше связано со сном, чем с действительностью, – гораздо чаще я видел его во снах, чем наяву.

Впервые я оказался здесь с отцом, когда мне было десять лет, и дома деревни Сон-остров тогда ещё стояли совсем целые, палисадники были огорожены заборчиками со штакетником, только стёкол кое-где не хватало в окнах. Открытые двери поскрипывали, дворы заросли высоким иван-чаем, и когда его розовые метёлки колыхались под ветром в сумерках, казалось, что возле домов кто-то ходит. Мы ещё парились с отцом в чистой и просторной бане по-чёрному, отмывались после долгого байдарочного похода.

Потом Сон-остров мне часто снился, особенно, когда умер папа.

То, что отец подарил мне это место, говорило в пользу того, чтобы возводить главную постройку моей жизни

именно здесь, наследовать то, что оставлено мне моим родителем вместе со светлым горизонтом Белого моря, китами-белухами, которых можно видеть с острова, нерпами, треской, полянами белого мха в лесу и низким, плоским, совсем непохожим на купол северным небом.

В кладбищенской тишине леса возле Попова озера ещё торчат кое-где восьмиконечные кресты с вырезанными именами и двускатными, покрытыми лишайником кровельками, подгнивают с земли, приваливаются от усталости к деревьям. Падая на землю, эти лестнички Иакова становятся похожи на остатки гниющих по берегам рыбацких карбасов – ступени-перекладки превращаются в остатки опруг, балка креста становится ушедшей в мох матицей судёнышка, ещё угадываются обшивины носовой части, и вот стайка побелевших крестов уплывает по мшистому лесу куда-то на запад. Вокруг колдовская, древняя, с лохматыми бровями ельников Карелия.

В заливчике в устье узенькой Сон-реки прыгает красавица сёмга. И отсюда до самой Чупы тянутся каменистые, иногда скалистые, самые живописные берега на всём Белом море.

Деревня Сон-остров, возникла не так давно – в 1916 году, когда поп с Кестеньги, вёз в Соловки деньги, заночевал здесь, а потом построился и перевёз сюда семью. Умерла в 70-х, когда пошло «укрупнение», когда исчезли многие малые деревни по стране.

Мы с любимой прожили как-то несколько дней на крохотном островке в салмочке – проливе между Сон-островом и призрачной деревней на берегу. Пока мы плыли сюда, несколько белух с двумя малышами совершили вокруг нашей байдарки круг, за нами наблюдали любопытные нерпы, мы жарили треску, слушали крики чаек и собирали морошку, янтарным светом светившуюся на

болоте как китайские фонарики. Через несколько лет вновь оказались там вместе с сыном.

А потом я поехал туда один в марте. Несколько часов протрясся по морозу в санях за снегоходом через тайгу и оказался в маленькой избушке на Поповом озере, где провёл десять дней. Рыбачил, охотился, караулил с фотоаппаратом нерпу у продуха, откуда она вылезала на лёд. Замёрзшее море поднимало и опускало приливами и отливами лёд возле берега, но вдали, за Сон-островом виднелась открытая вода светлого Гандвика.

Я бродил на лыжах по лесу, по морскому хрупкому льду, по озёрам и острову, но больше меня тянуло к деревне, от которой к этому времени остался всего один более или менее целый дом и два остова с провалившимися крышами.

Сильные морозы ушли за одну ночь, солнце быстро съедало снег, и в старом доме, который мне казался ещё крепким, можно было уловить домашнее тепло от нагретых досок пола. Сергей Ломовцев, бригадир мидиевого хозяйства на острове, хозяин вымершей деревни, хранил здесь сено, я лежал на сене и мысленно восстанавливал дом. Я же не умею строить дома, это большое и трудное дело, а рядом нет ни Кольки Колпакова с его трактором, ни Альберта Кайчина и всех тех друзей и знакомых, которые помогли бы мне в Кызыл-Кае.

Вечером с пьяной горячностью и пьяными подступающими слезами уговаривал Сергея помочь мне с этим домом, который казался мне ещё достаточно прочным.

– Ты что, Илюша, его только на дрова, гнилуху такую. Да и дрова-то хреновые будут, – отвечал Сергей, из жалости молчал о том, что он уже собрался выкупать потихоньку эту землю и строить гостевые домики для туристов.

А потом наступило время, когда откладывать свой дом на неопределённое будущее стало опасно. Это скользкое

будущее умеет быстро расправляться с самыми лучшими планами и мечтами, моментально превращаясь в упущенный вчерашний день. И дом был построен за одно лето всего в трехстах двадцати километрах от Москвы в рязанской деревне Кривель, где живут мои дядька с тёткой, вечные дачники, огородники и садоводы, к пенсии перебравшиеся в деревню насовсем. Это место выбрали для жизни они, а я просто присоседился, чтобы был кто-то свой рядом в чужой деревне, чтобы кто-то подсказал, как строятся собственные дома.

Дядька, появившись по делам в Москве, обещал мне десятки домов в самом Кривеле и в округе, только ждущих, чтобы их купили за гроши. Покупай, заселяйся и не спеша строй себе свой собственный. Но дядька отстал от жизни. Так часто бывает, когда живёшь в деревне.

Оказалось, домов на продажу нет, свободной земли нет. Есть вроде пустой участок на самом конце Кишки (так называется одна из улиц села), но это разве участок? – говорили дядькины соседи. Выселки какие-то, а не участок.

Строиться же нужно на виду, на людях, рядом с магазином, чтобы видеть в окошко всё что происходит, всех, кто проходит или проезжает по улице. А в конце Кишки кто же будет селиться? Кишка вообще у нас считается «деревней дураков». Кого там делать?

Мне же понравился именно самый конец этой самой Кишки, официально называемой Садовой улицей. Она протянулась вверх по течению ручейка Кривелька, обросшего осокорями, и почти в самом её конце, на изрытом глубокими траншеями участке никто не жил лет пятьдесят. Здесь, в траншеях когда-то прикапывали на зиму колхозную картошку. Ещё чуть дальше под толстыми осокорями видны развалины печки сгоревшего дома Коли Родионова по прозвищу Сука Поганая. Хороший,

говорят, человек был – спокойный, безвредный такой, трактористом работал.

С одной стороны – ручеёк Кривелёк весь в деревьях, смородине, ежевике. Через полкилометра его принимает в себя речка Пара, правый приток Оки. За ручьём поле пшеницы. С другой стороны – метров двести и опять поле с пшеницей, которое обрабатывает Витя Назаров, фермер. В сторону села – кривая цепочка домов Кишки, а в сторону разваленной печки Родионова, дальше за неё – заброшенные покосы с перелесками. Под ногами – жирный чернозём.

Здесь я и построил свой дом.

Его новые стены не пахли смолой, как мне хотелось – я купил готовый сруб километрах в сорока от Кривеля. Сруб стоял без крыши несколько лет на улице у прежнего хозяина и ко времени моего новоселья утратил золотой цвет и аромат.

Ручей Кривелёк, в отличие от алтайского Чулышмана, весело шумит только весной, к концу лета он еле течёт и покрыт лёгкой ряской.

Ни морского горизонта, ни карельских скал, ни алтайских скал. Бедный пейзаж, практически ровный горизонт, осокоря, ольхи и берёзки, кое-где на заброшенных участках полей поднимаются сосенки и дикие яблони. В посадках по полям – дубы с гниловатой древесиной, берёзы и узловатые вязы.

Ни запаха горной полыни, ни аромата багульника. Запах рязанской деревни из детства, с тех времён, когда я гостил в детстве у дядьки тоже исчез: ни молоком, ни скотиной, ни сеном уже не пахнет, пропали нотки кожи и дёгтя, самосада и хлеба. Даже печным дымком не тянет зимними вечерами – село газифицировано, у всех стоят в домах обогревательные котлы, и только я на необжитом конце нашей Кишки топлюсь дровами.

Но делать нечего, надо вживаться в ландшафт, делать его своим, родным, загадочным и богатым, живым и интересным. Искать привлекательные вершки и древние корешки.

Как же просто было полюбить Алтай с Карелией, как хорошо ложились видимые картинке на воображение, какая яркая, привлекательная шкурка у нашей Земли в тех местах! Трудно не полюбить ландшафт, развалившись в седле с карабином за спиной и обозревая открывшиеся с перевала долинки и далёкие вершины, трудно не заволноваться, встретив в безлюдье высокогорья чёрный курган с плоской верхушкой, от которого к востоку уходит ряд вкопанных стоймя камней-балбалов по числу поверженных покойным богатырём врагов. Невозможно не задохнуться от возбуждения, когда у твоей лодки всплывает белый кит, нельзя не загрустить под стоны чаек у гниющего на морском берегу карбаса.

А тут всё с усилием приходится делать – вживаться, влюбляться, вчувствоваться. Искать что-то в этих местах, на что, избалованный прекрасными местами, смогу откликнуться.

Итак, мой дом стоит в нижнем течении Кривелька, который, если его немного распрямить и вымерять, вытянется километров на пять. Летом в большинстве мест ручей можно было бы перепрыгнуть, если бы он густо не зарос тальником, как и наша река Пара. В детстве, живя в гостях у дядьки, бродя вдоль Пары, я мог в любом месте подойти к берегу и закинуть удочку, я мог уходить вдоль реки со спиннингом на несколько километров – луга были подстрижены коровами как хороший газон, тальник был срезан на корзины. Сейчас рыбачить в Паре получается только с лодки, а гулять – только по просёлочным дорогам и вдоль паханных полей. От высокой травы с мая по август комаров не меньше, чем в тайге.

В серых глинах на дне Кривелька лежат окаменевшие раковины аммонитов и «чёртовы пальцы» – растры огромных белемнитов, обитателей здешнего мира, который когда-то был покрыт морской водой. Иногда кажется, что на дне блестят монеты, а это отливают золотистым перламутром ископаемые раковины. В 1926 году недалеко отсюда, возле Сапожка (нашего райцентра) был обнаружен почти полный скелет гигантского оленя, стоящий теперь в Палеонтологическом музее в Москве, а через десять лет найдено целое кладбище – пять скелетов этих зверей, которые большей частью были сданы в утильсырьё.

Кривелёк – название русское и сравнительно молодое. А большинство гидронимов здесь древние, иноязычные, с неясным для нас значением. Пожва и Ранова, Лукмос и Петас, Инкаш и Нетрош. Из полей и лесов спускаются старые угро-финки Пара, Пра, Мокша или Цна, а в самом нижнем их течении, у Оки, вдруг как девки на лугу между ними начинают перекликаться по-русски тоненькие Ярославка, Ташенка и Алёнка с Полькой.

Немного выше Кривеля на Паре стоят сёла Большие и Меньшие Можары. Историк В. П. Шушарин в книге «Ранний этап этнической истории венгров» пишет: «С мадьярами востока можно связывать только те этнотопонимы, которые отражают самоназвание этноса (Можар, Маджар)». Напротив этих сёл в Пару впадает речушка Унгор, и исследователь истории Рязанского края А. И. Цепков добавляет: «Здесь второй этникон мадьяр – «Унгаре» (угры, унгри, огре, оугре, унгаре, хунгари)». Это следы на карте нашей местности от оставшихся, не ушедших в Европу венгров.

В верховьях Кривелька, в паре километров от моего дома обозначено на археологических картах древнерусское городище. Его уже не видно – или распаханно, или до-

рога по нему прошла. Ещё четыре древних поселения – на холме (или на «бугре», как называют его кривельские) в излучине нашей реки Пары, рядом с селом. Тут и неолитические стоянки, и поселения раннего железного века.

В 1900 году житель села Кривель Н. С. Поляков при рытье колодца нашёл клад из восьми сотен арабских дирхемов IX века. Его потомок дядя Коля Поляков, которого иногда называли Косоруким, иногда Карасём, облазил всю округу с лопатой, а позже с металлодетектором и показывал мне свои находки – почерневшие и позеленевшие пятаки и полушки, крохотные допетровские копейки и деньги, похожие на серебряные чешуйки, три створки от медных складней, крестики. Из древних поселений на бугре он добыл каменный топор и кремнёвые наконечники стрел, отдал их в Сапожковский и Шиловский музеи. Баба Саня по прозвищу Сова, жена дяди Коли, угощала меня хорошим самогоном, пока я смотрел монеты.

У дяди Коли не хватало кисти руки, отсюда прозвище Косорукий. Ребёнком во время войны он жил с матерью в Рязани, бегал с друзьями на железную дорогу смотреть на поезда, на эшелоны с красноармейцами, идущие на фронт. Из теплушек солдаты бросали детям сухари, конфеты, один из солдат бросил запал от гранаты со спущенной чекой, и маленький Карась поймал его.

Пока дядя Коля был жив, я иногда заезжал к нему побеседовать, и карта местности начинала немного оживать. Пара в наших беседах возвращалась в своё старинное русло, текла там, где теперь остались лишь заболоченные озёра-старицы, Кривель тоже двигался с места на место, выгорая дотла и строясь чуть в стороне, переползая по местности вслед за отступавшей рекой. Вырастали и пропадали дома на заречной стороне, где теперь поднимается сосновый подрост, по оврагам в землянках прятались дезертиры.

– А вдоль Пожвы по полям осколки керамики иногда густо валяются, там что было?

– А там никаких монет, одни черепки. Наверное, ещё до монголов люди жили, когда беличьими шкурками расплачивались. Я там только железные наконечники стрел находил.

По речке Пожве, впадающей в Пару у соседнего села Красный Угол, пролегал один из маршрутов торгового пути «из варяг в арабы». С Оки поднимались по нашей Паре, дальше по Пожве, переволакивались в верховья Лесного Воронежа и дальше – вниз к Дону. Отсюда и клад дирхемов.

Сейчас по льду замерзшей Пожвы трудно пробраться зимой на лыжах – и без того узенькая, она завалена стволами подточенных бобрами деревьев. Представить себе караваны торговых судов, идущие вверх этим путём, трудно. Так же трудно представить сотни ордынцев, тонущих, согласно летописям, вместе со своими лошадьми в речке Воже ближе к Рязани, у Глебова городища, где Дмитрий Донской за два года до сражения на Куликовом поле впервые разбил татарское войско. Я без труда перешагнул Вожу внизу, под холмом, с которого русские погнали врагов к реке. А на обратном пути видел из окна машины тепличное хозяйство, берущее воду из речки немного выше поля Вожской битвы. Говорят, овощи там выращивают китайцы.

– В Кривельке раньше щуки были и окуни вот такие, – говорит сосед Володя Усков. – Потом, правда краник забыли завернуть на колхозной заправке, целая цистерна солярки в него ушла. Рыба пахнуть стала.

Теперь уже и пахнуть некому: Кривелёк, поивший в верховьях древнерусский городок, завален в селе мусором и заключён в трубы под мостиками в середине и в конце Кишки.

Малые реки, придавленные мостами, перегороженные плотинками, поящие овощеводческие фермы и принимающие в себя стоки с животноводческих ферм, умирают.

Но с земляных валов многих древних городищ вокруг иногда ещё открываются хорошие виды на реки, сверкающие сельдяным блеском от ветра. С Темгенёвского городища над Цной, от Старой Рязани и Старой Каширы на Оку, с Щучьего городка на Осётр.

Какими маленькими оказываются эти города, контуры которых видны на земле! Только Старая Рязань, сожжённая монголами, поражает воображение своими размерами. А по большей части это скорее крепостцы, деревянные замки, почти половина из них защищала стенами площадь менее полугектара. Ижеславец на реке Проне возле Михайлова, упомянутый в «Повести о разорении Рязани Батыем» и не возродившийся после монголов, оградил аж тремя линиями валов и рвов территорию, на которой с трудом уместятся три или четыре моих дачных участка. Но каждый раз мне кажется, что места для городов выбирались не только с умом, но и с душой. Так, чтобы приятно было начинать новый день, оглядывая с утра окрестности.

Любимой тоже нравится бродить по древним городищам, по пустым местам, где стояли города, шевелить ногами травы. На оплывших валах Ижеславца она находит забавное растение с красноватыми ягодами, гуглит в телефоне и понимает, что это спаржа. И теперь у нас на грядке растёт эта ижеславльская спаржа. Через четыре года, когда она разрастётся, любимая собралась приготовить из неё салат. С Темгенёвского городища привозит степной ковыль, красиво колышущийся под ветром. Со Старой Рязани над Окой забирает обычную берёзку, чтобы она росла под окном.

Ездим и по усадьбам. В усадьбе славного полководца Скобелева она ходит по зданию построенной им школы для крестьянских детей, слушает местного экскурсовода и узнаёт исторические факты.

Народ его очень любил. Вот такие картинки на стены любили клеить. Даже бутылки в виде генерала изготавливали, вот две такие бутылки. Самого генеральского дома, к сожалению, не сохранилось, народ спалил, всё растащили, а потом от греха побросали самое ценное в пруд. Зато сохранилось место упокоения любимого скобелевского ахалтекинца Геок-Тепе, белого жеребца, названного Зелёным холмом.

За скобелевской усадьбой в Заборово рядом с полевой дорогой стоят стога, и она наблюдает, как наш подросток прыгает по этим стогам, задыхаясь от счастья и прелой соломенной пыли.

В Нестерово, пока сын лазает по винтовой лестнице на колокольню, она разглядывает лежащее в крапиве и мусоре надгробие и читает надпись на полированном чёрном камне:

«Другу моему отъ супруги княгини Волконской въ память и благодарность за прошедшее щастье».

При въезде в Сасово у заправки ТНК на обочине шоссе сидит на земле огромный гипсовый Хэмингуэй. При желании его даже можно узнать. Местные зовут его охотником, хотя он давно уже утратил своё ружьё. Этот единственный в России памятник великому американцу изваял кубинец – курсант Сасовского вертолётного училища, увлечшийся занятиями в местном художественном кружке. Хэмингуэй, подобно надгробию князя Владимира Волконского в Нестерово, провёл несколько лет в канаве, пока его не вернул на свет какой-то предприниматель. Теперь любимая фотографируется у него на коленях.

В Каргашино тоже экскурсовода нет. Топорщится из густых зарослей черноклёна разрушающаяся псевдоготика барона фон дер Лауница – стены с кремлёвскими зубцами-мерлонами, башни, вытянутые вверх арки. Подросток с удовольствием исследует руины конезавода, а она боится змей и крапивы, ждёт, смотрит в телефон.

Барона очень любили. Боевой офицер, спас на смотре жизнь императрице Александре Фёдоровне. Петербургский градоначальник, борец с преступностью. Убит террористом. На похороны сюда, в Каргашино, на родину Владимира Фёдоровича, прислан величайшим распоряжением гроб из хрусталя. Крестьяне несли гроб на руках в страшную вьюгу. Позже выкопали. Сдёрнуты ордена и сапоги, труп брошен в канаву, в хрустальном гробу стирали бельё, пока не раскололи. В сапогах ходил комиссар. Один сын барона погиб на германской войне, другой сын и жена – в лагерях.

– Удивительно! – поражается она. – Залез в телефон и всё узнал. Всё-таки интернет – это чудесно.

В Бельском посреди поля догнивает последняя деревянная колокольня Рязанщины.

В Дивово едва различим среди деревьев одинокий стройный минарет, построенный чудаком-помещиком, насмотревшимся открыток с изображением Константинополя. Рядом институт коневодства, вольеры с лошадьми, и любимая пробует кумыс из молока мохнатых злых пони.

В Костино возле Рязани среди листвы проглядывают колонны ионического ордера, а в одичавшем парке, спускающемся к Оке, уходят в никуда каменные ступени. Попасть туда трудно, местные дети показывают дорогу и рассказывают страшилки о привидениях, по пути приходится преодолевать высокие заборы.

Пара часов езды на север от нас – и над Окой пестрит крышами Касимов, столица просуществовавшего двести

лет Касимовского ханства. Маленький уютный городок с усыпальницей чингизида Али-хана, старинной мечетью, музеем самоваров и приятными кафешками, куда пускают даже с собакой.

Рядом с Красным Углом, в нескольких километрах от Кривеля, среди поля на холме стоит последний сторожевой дуб Рязанской области, пожалуй, единственная историческая достопримечательность нашего Сапожковского района. С дуба сторожа выглядывали татарские отряды. Через Сапожок проходила часть Большой засечной черты, ограждавшей рязанские поселения от Дикого Поля, а сам городок служил заставой на одном из ответвлений Ногайского тракта.

В 1627 году сапожковский воевода Яков Милославский доносил: «Мая в 10 день приходили к Сапожку татары и, быв на сапожковских полях, пошли от Сапожка опять в степь, а взяли трёх человек и да пять лошадей отогнали... В июле же 12 дня опять приходили татары под Сапожок человек тридцать, а отбить их было некому, потому что в Сапожке какие и есть ратные люди, и те безконны и бредут врозь от татарских частых приходов».

Лет сто назад в дупле сторожевого дуба по обету жил местный старец. У корней на большом валуне – месте его моления – им грубо выбит крест. Последние годы покойному пустынножителю стали щедро оставлять под дубом конфеты, печенье, монеты, даже одежду, поскольку зимой на продуваемом холме очень зябко. Нижние ветки увешаны ленточками, на стволе укрепили икону. Получилась какая-то православно-языческая кумирня.

На родине богатыря Добрыни Никитича в Шилово, в краеведческом музее выставлены черепки, украшения и наконечники стрел, оставшиеся от загадочной, непонятно откуда пришедшей сюда культуры Рязанско-Окских могильников. На осколках керамики осталось всего

несколько букв их рунического нерасшифрованного письма. Появились здесь вроде бы с запада, завоевали себе место под солнцем и через несколько веков сгнули. То ли готы, то ли не готы. Что-то у них было от угро-финнов, что-то от балтов, многое связывало с сарматами или другими иранскими народами. Жили богато, являлись знатными милитаристами, вооружены были мечами (роскошь для того времени), воевали даже женщины.

Такая вот на этой ровной и не очень выразительной земле исконная русская мешанина из говорящих на правильном французском Волконских, античных колонн, гипсовых американских писателей, арабских дирхемов, венгров, отставших во время великого переселения народов, турецких минаретов, татар, мордвы, остзейских баронов в хрустальных гробах, вятичей и амазонок из Рязанско-Окских могильников. Азартному директору Шиловского музея этого недостаточно, он упорно ищет на берегах Оки ещё и аномальные зоны, куда фашисты собирались заслать поисковые группы СС, связывает местные топонимы со скандинавским эпосом и утверждает, что вообще именно здесь, в этих краях, находился один из трёх мировых центров зарождения нашей цивилизации.

Цивилизации, которая, по словам трансценденталиста Эмерсона, и задушит в конце концов человеческую расу.

Следующий за нами дом, щитовой, обложенный кирпичом, – Любин. Мне даже никогда не приходило в голову узнать её фамилию. Люба и Люба, без прозвища и без обычного для коренных жителей нашего села фамильного прозвища, передаваемого по наследству, – она не кривельская, её родное село километрах в восьми от нас.

Шесть лет назад она освободилась из мордовских лагерей и вернулась сюда, в дом покойного сожителя. Дети – старшая замужем, сын в училище, в общежитии,

ещё одна дочка в приюте. Работает Люба, выражаясь по-местному, у попов – нанялась к ним в пекарню уборщицей, получает тысяч пятнадцать.

Двор её зарос, печка дымит, все вечера окна мерцают от работающего в доме телевизора. Иногда ей привозят обрезки пиломатериала, старые брёвна от срубов на дрова. В этом году Люба сколотила себе туалет.

Попы, у которых она работает, располагаются на «бугре». Этот песчано-глинистый бугор с его неолитическими стоянками и поселениями железного века является доминантой нашей плоской местности, но не упорядочивает, а несколько искривляет её. Река Пара начинает перед ним нервно петлять, течёт то на север, то на юг, потом широко огибает его, поэтому наше село и называется Кривелём. Кривель – хоть ясное, понятное название, в полста километрах от нас по карте, возле Шацка стоит большое село Сново-Здорово.

Раньше на бугре был господский дом Ускова, от мощного корня помещика, вероятно, разрослись многочисленные побеги Усковых по округе. Половина села носила эту фамилию. Двадцать четыре Ускова не вернулись в Кривель с войны.

После помещика там был хутор Горбачёвка, колхозная пасека, старый Усков сад, но в девяностых это место приглянулось московским монахам. Легенда, которой пока не удалось зацепиться корнями за местную почву, но широко бытующая в интернете, гласит, что на памяти ныне живущих на вершину бугра опускалась сверху сияющая лестница, по ней то ли восходил, то ли нисходил преподобный Сергей Радонежский.

Сразу вслед за легендой возник на бугре и скит московского Данилова монастыря во имя Сергея Радонежского. В ограде скита находятся деревянная церковь, новый яблоневый сад, пасека, пекарня и мебельный цех,

в нашем селе в здании Кривельской школы (ранее тоже господском доме) работает иконная мастерская. Скит построил церковь в Можарах, есть молочное и зерновое хозяйства по окрестным сёлам. Видимо, дела на бугре идут хорошо: монах, отвечающий за выпечку хлеба, ездит на «ренджровере», главный по стройматериалам – на «мерседесе».

В обители уже пятый по счёту настоятель, отец Феодосий, бывший военный лётчик. Восемь лет назад осенью в хороший солнечный день он крестил меня на «поповской купалке», в водах Пары, предварительно освятив их. Так что в день моего крещения в реке текла особенная вода, хотя вряд ли кто-то живущий на её берегах или в ней самой отметил это.

Проведённый обряд гораздо больше привязал меня к нашей реке, чем к христианскому вероучению. Я так и не научился посещать службы, носить крестик и причащаться, а вот без прогулок по берегам Пары, без того, чтобы посидеть на её берегу, пройтись по ней на лодке, исследовать омутки и быстринки, понаблюдать за бобрами, роющими в берегу норы и стригущими кусты и деревья вдоль воды, – без этого начинаю скучать.

Приходские церкви есть в соседних Михеях (красно-го кирпича, высокая и просторная, шесть километров от нас) и в соседнем Красном Угле (маленькая белая, четыре километра от нас). Когда ещё одна начала строиться в самом Кривеле, Сашка Заяц, внук дяди Коли Карася, сказал: «Церкви на каждом углу растут, как...»

Сашка подыскивал слово, и я ждал, что он скажет «как грибы», но это выражение показалось, наверное, ему невыразительным.

«...как заправки», – закончил он.

Строительством нашей духовнотопливной заправки руководил мой дядька. Они с тёткой художники-медальеры.

Мне в детстве нравилось смотреть, как они, сверяясь со своими эскизами, вооружившись зубо­врачебными инструментами, лепят из серого пластилина монеты и медали. На пластилине появлялись портреты или здания, прорисовывался шрифт, потом это всё заливалось гипсом, гипсовая форма смазывалась вазелином и в неё снова заливался гипс. По отливке проходили резцом, убирали огрехи, подправляли буквы, припорошивали бронзовой пудрой и несли на художественный совет, а потом на монетный двор.

Сейчас, на пенсии, когда заговорили о новой церкви в Кривеле (на кладбище, на месте снесённой после войны), у дядьки появилась возможность соединить страсть к дачному строительству с опытом художественной работы, и он взялся за дело с энтузиазмом. Эскизы, книги по храмовой архитектуре, чертежи, планы, сметы, огромные иконы, которые писала тётка для будущего храма. Дядьку назначили старостой будущего храма.

Церковь получилась высокая, деревянная, светлая, с частыми большими квадратными окнами, как в детских садах, школах, поликлиниках и других общественных помещениях, возводимых в семидесятые годы, во время начала его художнической карьеры.

Коллективно жители села работали только на рытье ямы под фундамент и строительстве опалубки под него. Собралось человек десять мужиков – половина дачники, было весело. Судя по остаткам старого фундамента из белого камня, новый храм умирающей деревни обещал быть просторнее, чем тот, который стоял при живом, людном, рожавшем ребятишек Кривеле.

Далее работа перешла в руки специалистов – рубили ребята из Вологды.

В это же время другой кривельский пенсионер, сын дяди Коли Карася, тоже Карась (фамильные клички переходят от отца к сыну), Коль Колич со своей стороны

взялся за благоустройство села – решил установить памятник односельчанам, погибшим в Великую Отечественную. У Коль Колича нет художественного образования, зато есть большой опыт работы бригадиром на московских стройках.

И на то, и на другое деньги собирались с населения и с местных спонсоров, поэтому оба пенсионера являлись конкурентами. Они могли часами спорить, что нужнее для села, в котором с трудом насчитывается сотня жителей, – памятник или храм. Стоят на морозе расстёгнутые, жаркие и спорят.

– Храм – тот же памятник, Коля.

– Нет, Михалыч. Памятник – это памятник, дань живых павшим. Если у народа отнять память...

– Помолись – вот и будет память. А твоя стела из нержавеющей стали рядом с трансформаторной подстанцией – это что? Память?

– У тебя отсюда предки не уходили на фронт...

– У меня с другого села уходили.

– На твою церковь миллионы нужны, тебе бабки их наберут?

– В церковь каждую неделю ходить будут, а на твой памятник раз в год.

Строительство церкви – это всё же не дачное строительство. Ковёр с нарисованными оленями на стену не повесишь. Люстры, подсвечники, кадила, сосуды, лампады – всё это тоже нужно, чтобы в селе был свой храм и свой поп. Только четыре гвоздя для престола стоят две с половиной тысячи рублей, правда, красивые удобные камни для забивания этих гвоздей по обряду дядька выпросил бесплатно на строительном рынке в магазине «Всё для печей». На освящение съедутся церковные чины, привезут хор, их нужно накормить, хору заплатить, чинам раздать вознаграждение. И опять Лида ходит по

дворам, на сдвоенный тетрадный лист заносит крупным почерком фамилии и суммы пожертвований. Присаживается на лавку в теньке у нашего дома, обсуждает – кто сколько сдал, показывает лист и нам, тыкает в него пальцем. Оказывается, некоторые суммы приличные – тысяча, полторы – но не от души. Некоторые поскромнее, но более или менее от души.

Освящение получилось красивое, был сам владыка, четыре диакона, два иеродиакона, гостей кормили в сапожковском ресторане. Но церковное начальство меняет планы – отдельного батюшки у вас не будет, не прокормится он у вас. Службы будет справлять отец Гурий с Красного Угла. Дядька переживал – главные праздники-то Гурий у себя в Красном Угле служить будет.

Памятник павшим открыли на 9 мая. На стеле девяносто восемь имён.

Коль Колич после этого занялся обустройством родников в окрестностях села, но проект быстро заглох. Последнее время увлёкся изучением древнеславянских верований.

Дядька сдал храм, сложил с себя полномочия церковного старосты. Ему, а заодно отцу Гурию и главному спонсору вручили от владыки медальки с изображением Романа Рязанского. Сейчас думает заняться вторым этажом своего дома, устроить там жилое помещение.

Теперь в селе есть две национальные скрепы – храм и памятник погибшим. Память о славном трагическом прошлом и обещание бессмертного будущего. Есть куда окунуться, убежать из зыбкого, «мнимого» по словам Льва Гумилёва, настоящего. Давно уже нет работы, нет школы (в селе всего два школьника), клуба, закрылся фельдшерский пункт. Опустела года три назад школа и в соседних Михеях – идёт укрупнение и объединение. Ребята из ближайших деревень ездят на жёлтом ПАЗике учиться в Сапожок.

Дальше от нас, за Любой, на месте родительского дома, у родника, из которого мы берём воду, поставила дачку рязанка Валя Штыкова, проводит лето на пенсии. Соседи зовут её пчёлкой – без дела не сидит. Двор всегда чистый, настроение всегда хорошее, голос звонкий.

Ещё дальше живут Чигари. Чигари – тоже фамильное прозвище, на самом деле они Усковы. Татьяна Ивановна и два сына – Юра и Володя, оба без работы. Татьяна Ивановна отработала тридцать лет дояркой. Володина дочка Танюшка недавно вышла замуж, родила Артёмку, живёт теперь в Сапожке. Юрка пьёт.

Володя работал трактористом в колхозе. Мы с Володей ровесники, оба семидесятого года, родились с разницей в пять дней. И пить бросили почти одновременно, с разницей всего в два года. Сначала я, потом он. Вот уже шесть лет он заходит и мы пробавляемся чайком. За чаем Володя рассказывает весёлые истории из прошлого и свежие новости. Благодаря Володе мы на нашем глухом конце Кишки находимся в курсе местных событий.

Поскольку мы не местные, Володя сначала кратко описывает действующих лиц своих историй – в каком посёлке, где именно и рядом с кем они живут или (чаще) жили, какого года рождения, чьи они дети (жёны, родители) и добавляет главные вехи их жизни, по которым можно запомнить и опознать этих людей в его будущих историях.

... которого отчим топором зарубил, помнишь, я рассказывал... который в реке уходился... который под электричку в Шилово прыгнул... который повесился... который керосином себя облил и поджёг...

... а он ей говорит: «Это я-то козу?» – и н-на ей по сопатке... учительница мусорное ведро ему на голову надела и по школе водила, рыцаря всем показывала... на развороте плугом бабку задел, как же эта бабка летела!.. она из окна ж... выставила и цветочек в ж... себе воткнула...

трактор в Кривелёк загнал и спит в нём, а гусеницы грязь гребут... (это смешные истории).

... сам пьяный, разогнался на повороте и в столб, хребет себе сломал, в больнице лежит, операцию отложили, потому что белку прямо в больнице словил... изнасиловали, говорят, черенок от лопаты вставляли, но ничего, отошла, уже бегают... сгорел в доме... а он у матери уже железо на крыше содрал и сдал за вино... второй раз за день милицию вызывали... (это новости нашего района).

Татьяна Ивановна тоже иногда рассказывает что-нибудь весёлое. Поправляя под подбородком концы платка, она заранее смеётся: вот умора, так умора. «Мой-то пас деревенское стадо. Я ему днём носила перекус. С дойки в обед прибегу, приготовлю и – к нему. Раз побежала – обед и чекушку несу. И что же? Он уже где-то нашёл вина, сам добре пьяный и спит, а коровы ушли. Будила, будила, а он проснётся и ка-ак с кнутом на меня, я от него. До вечера бегала коров искала, они до Васильевки ушли. К ночи пригнала».

Татьяна Ивановна застенчиво хохочет, потом ещё раз повторяет: «С кнутом на меня! Насилу убежала...»

Татьяне Ивановне под восемьдесят. Управляется с огородом. Откармливает сыновей, кур, гусей, этим летом на её попечении был и маленький вьетнамский хряк Мясня, привезённый Володей из соседнего села. Когда я сижу в деревне один, Татьяна Ивановна часто даёт Володе тарелку блинов или каравайцев отнести мне.

Когда любимая сидит с мальчиком в Москве, а я ещё остаюсь в деревне, ко мне чаще вечерами заходит Володя, мы завариваем чай, чокаемся кружками.

– Наш головастый опять выпил и говнит, – жалуется он на брата Юрку. – Энергетический вампир, бывают такие. Мы его, понимаешь, обижаем, крадём у него всё – деньги, карточки, телефоны. Ему же поговорить надо, как

выпьет. Вампир, так и есть. Утром стонет. Я вот пил – я же не стонал после этого.

Володя удивительный человек. Я бы, наверное, не справился на его месте. Бросить пить, живя в одном доме с Юркой! Без жены, без работы и без обещания интересного будущего, которое обычно греет и помогает. Без планов на ближайшее время. Без ощущения, что он всё ещё стартап и скоро «выстрелит», удивив всех окружающих.

До этого он кодировался, зашивался, валялся в больничках, учился заново ходить и разговаривать, но остановиться не получалось. Лишили родительских и водительских прав. А шесть лет назад просто принял решение. И шесть лет не пьёт. И не будет, видно же, что не будет.

Женщины теперь любят советовать Володе найти себе бабу и жить с ней.

– Найдём тебе. И помоложе найдём, – говорят ему в магазине.

Володя смеётся:

– Ага. Посажу её рядом и буду рассказывать, что и где у меня болит. Нет уж! Нажился с бабой, хватит.

Володина бывшая, заведшая себе новую семью в Москве, иногда присылает в Кривель своих младших девочек от нового мужа, Татьяна Ивановна исправно кормит и их.

Почти каждый день Володя ездит в Сапожок и возится с внуком. Заезжает постоянно в Красный Угол проведать крестника. Иногда калымит у попов, иногда таксует, когда подвернутся клиенты, непрерывно чинит свою «Ладу Калину», возится по хозяйству, рассказывает мне новости или вспоминает службу в армии в ракетной части под Барнаулом. Он производит впечатление человека достаточно свободного – в том, что его жизнь сложилась так, как сложилась, он не винит никого. Ни близких, ни друзей, ни общество. Здоровье, по его словам, пропил

он сам, соображалка иногда плохо работает – тоже сам виноват.

Володя интересны живые люди. Он с удовольствием слушает истории о том, кто и как повёл себя в разных ситуациях. Разговоры и размышления о социальном устройстве общества и социальной несправедливости ему скучны. Да, раньше веселее было, при колхозе, ребяташек много было, вообще народу больше. А с другой стороны – бардак был страшный.

... что же с тракторами делали! Вот старые «Беларусы», МТЗ-50, которые на экспорт делались, те вообще неубиваемые были. Гробь, гробь его – он всё равно один хрен бегают. Ну и гробили.

... Ваня Король раз восемь переворачивался по пьяни.

... Толя Ховрач едет на своём тракторе, говорю – масло проверь. А, отвечает, хрен ли это масло проверять, раз его там нету. И так всю дорогу.

... греть зимой неохота – дёрни меня. Вывезешь его на дорогу, дёргаешь, дёргаешь, завёлся. Тройт, тройт, потом вроде ничего.

... сколько же мы зерна пропили!

... солярка вообще ничего не стоила – вон у Кривелька цистерна стояла, нужно –открывай крантик, наливай. Она постоянно и подтекала – крантик не довернут путём и уйдут.

... а в капремонт отправишь... Раз я возил осенью навоз на тележке, потом эту тележку в Шацк на капремонт отправили. Вернулась весной яркая, крашенная прямо по навозу, где он прилип.

... коров рыбой минтаем кормили.

... за сеном на юг чуть не до Кавказа ездили... Конечно, после этого всё развалится, вот и развалилось.

За домом Чигарей – дом, принадлежащий Нинке Голынихе, в нём мыкается недотёпистый Серёжа Костыль.

А до него мыкался старичок, который умер потом в сапожковской больнице. Нинка крутила какие-то дела в Москве, а сюда отправляла тех, кто терял своё жильё при этом.

Дальше живёт Шура Борисова, тоже пенсионерка, тоже работала дояркой. Сын, Коля Мельник (кличку дали за любовь молотъ языком что попало), живёт в Рязани.

Пока на Кишке живы Татьяна Ивановна и Шура Борисова, Костыль не пропадёт. У него на всякий случай будут отбирать деньги, которые изредка присылает Нинка, которые он заработает у попов на картошке или закалымит где-нибудь ещё, а потом экономно выдавать потихоньку или даже покупать в автолавке хлеб, сигареты и макароны и выдавать хлебом, сигаретами и макаронами. У него всегда будет какая-никакая одежда, картошка, общение.

За Шурой – Колюня Ермаков. Некоторое время он работал в Москве на поливальной машине, теперь дожидается пенсии в отцовском доме. Его отец звался Старым Цуканом, как будто заранее ожидалось и Молодые, но на сыновей это прозвище не перешло, наверное, из-за того, что страсть подворовывать не передалась наследникам. Деда их валяли в перьях и водили по улице в овечьей шкуре, отец был притчей во языцех, но старшие братья вышли правильными, разъехались по разным городам, работали, дурного слова про них никто не говорил, да и на Колюню как будто не хватило батареек. Цукановский воровской азарт закончился. Ходит Колюня, принохивается своим большим хрящеватым носом, крутит головой, высматривает что-то, может сесть на хвост, если у кого есть выпить, но пакостничать не будет. Если возьмёт в долг – отдаёт.

Старый Цукан под конец жизни стал путешествовать. Его искали, ловили, возвращали, потом даже привязывали за ногу во дворе, но удержать не могли. Смотришь – он

уже семенит согнувшись по дороге или прямоком через кусты, через поле, пытается недорого продать встретившимся людям обрывок газеты или клочок старой пакли. Последний раз его искали месяц, потом нашли по стае воронов и по запаху в крапиве у Кривелька.

Цукан оставил о себе много историй, подтверждающих моё подозрение, что в деревне люди как будто в большей степени имеют право быть непохожими на других, поскольку знают, что общество их всё равно примет, руководствуясь принципом – свой, кривельский, хотя и не такой, как следует.

В деревне люди объединены по географическому признаку, в городе же или в интернете мы ищем общества себе подобных, похожих на нас, и, окружив себя этими подобными, стараемся соответствовать им, чтобы не быть изгнанными из коллектива. Американский социолог Ирвинг Гофман подметил, что в современном мире уже недостаточно просто быть человеком, чтобы восприниматься как человек. Теперь необходимо изображать реальность и правду, чтобы в тебе увидели человека.

А тут как будто этот принцип ещё не начал работать. И я наконец впервые за долгие годы немного расслабился. Такой, какой есть – чужой, городской, совсем не похожий, живу себе спокойно на своём конце Кишки и могу не думать о социальных шаблонах, не изображать реальность и правду, не соответствовать. Человека в тебе и так разглядят, а своим всё равно не станешь.

За Колюней – дом Тони Мартышки, которую недавно парализовало, а затем насыпной мостик с трубой, в которой протекает Кривелёк. Дорога через мостик уходит к дому фермера Вити Назарова.

У Вити весёлая жена, красавцы сыны и дочка, внук Владик, с которым дружит наш сын, дом охраняют огромные собаки разных кровей с пустыми ясными глазами, иногда

гуляющие по округе. Коровь (больше в селе их ни у кого нет), овцы, поля с пшеницей. Витя не сыплет на свои поля ядохимикаты – «Моя земля, не хочу травить». У него нет наёмных рабочих. Витя не курит, почти не пьёт, и мне часто кажется, что не спит.

Когда мне нужно что-то подварить в машине, вспахать, пробурить, привезти, расчистить от снега дорогу, когда мне нужно сделать что-то, с чем я сам не могу справиться, я, как и многие жители Кривеля, иду к Вите. Вернее, приезжаю и сижу в машине, пока он не выйдет, потому что пару раз его Джек подкарауливал меня на дороге, и я глядел в его нечеловеческие глаза. Пока всё обходилось благополучно, но мне кажется, что когда-нибудь обойдётся неблагополучно.

Старший Витин сын, Славка, живёт своим домом, имеет фуру, на которой ездит в дальние рейсы, пасеку, жена работает в магазине. Младший, Витюшка, работает с отцом.

Витины поля окружены полями агрохолдинга. С самолётов, опыляющих поля инсектицидами, на Витину землю всё равно перелетает отравы, как и к нам на участок. Трава иногда вся белая стоит после авиаобработки. На Мамышеве (соседней улице) в этом году написали жалобы и получили компенсацию – десять тысяч каждый. А у нас на Кишке никто до этого не додумался.

Основной и самый надёжный покупатель Витино зерно – зоомагазины. Время небольших, семейных фермерских хозяйств или ушло, не успев начаться, или ещё грядёт где-то в будущем. Года три назад все начали советоваться друг с другом, продавать ли агрохолдингу оставшиеся от распавшегося колхоза паи земли, за которые получали по несколько центнеров зерна в год на корм курам. Советовались даже со мной на всякий случай или, может быть, просто из любопытства – что может ответить на такой вопрос городской человек с гумани-

тарным образованием. Потом вслед за самыми решительными продали почти все.

Теперь поля обрабатывают мощные трактора «John Deere», тянут за собой огромные сцепки культиваторов. А кривельским жителям (за исключением Вити Назарова) земля вроде как и не нужна, как не нужен и скот – магазинное молоко лучше. Им нужна работа, которую никто не даёт. Или дают, но с очень маленькой зарплатой. Или дают, но в Москве или Рязани. Земля, за которую бились их предки в Гражданскую, за которую поднимались в Тамбовском восстании, которая в девяностых наконец досталась им в виде колхозных паёв, уже потеряла былую ценность и была продана за копейки.

Новейшие технологии, говорил австрийский философ Иван Иллич, создают зависимость, они забирают инструменты и процессы у индивидуумов и отдают их в руки организаций. В результате возникает «модернизированная бедность». В обмен на яркие лампочки и пульсирующие приборы люди теряют то, что, как считал философ, должно было быть самым дорогим для человека: автономию, свободу, контроль.

Хитры же наши кривельские и углянские по сравнению с австрийскими – пульсирующие телевизионные приборы получили, яркие лампочки имеют, все только бензокосилками двory выкашивают, в каждом дворе какой-никакой, но автомобиль, и за это им не пришлось даже расплачиваться своей автономией или контролем, этого сроду не водилось. Татары, поди, сильно автономничать не давали во время набегов; барин порол, покупал и продавал: соседняя Марфинка в карты липецким помещиком проиграна и полностью сюда переселена; крестьянская община как до освобождения 1861 года не давала вольничать, так и после освобождения; в колхозе тоже сильно свободу не распробуешь, наверное.

Сибирякам, про которых Кропоткин писал, что они «испытывают чувство явного превосходства над русскими крестьянами», действительно, было что отдавать за новейшие технологии. А здесь, в центральной России, малоземельная бедность безвозмездно сменилась «модернизированной».

Только недавно вроде как свобода наступила, неприветливая, ненужная. Никто ничего не требует, всем на тебя плевать. Хочешь – дома сиди, никто тебя за тунеядство не привлечёт, хочешь – к попам нанимайся убираться в пекарне за пятнадцать тысяч или картошку с яблоками за пятьсот рублей в день собирать, хочешь – в город езжай, рискуй, пробивайся. У кого какой талант.

Её ещё распробовать надо, эту свободу, привыкнуть, полюбить её или разочароваться в ней.

А за мостиком продолжается, тянется вдоль ручья Кишка. В самом конце её – единственный ветеран войны, оставшийся в селе, дядя Лёня Биток, тоже носящий фамилию Усков. Битком был его отец, славившийся хлестким ударом в кулачных боях. Дядя Лёня успел отсидеть и в сталинских лагерях, куда его забрали по пути с фронта за неосторожное, высказанное вслух наблюдение, касающееся сельского хозяйства. Иногда во время прогулок он доходит до моего дома, иногда до магазина, где покупает бутылку пива. Пиво выпивает на улице, стоя, вытирает усы и бороду и возвращается к себе.

Как-то наблюдал дядю Лёню на обочине дороги, жадно глядящего на работу комбайнов, убирающих пшеницу.

Говорят, что он и правда очень жадный. Почему? – спрашиваю. Так у него пенсия аж двадцать пять тысяч! Конечно, жадный.

Помимо Кишки наш Кривель состоит из Мамышева, Гармоновки, Никулишни и Второшни. Заречье исчезло. Кривельские теперь уже и сами не могут точно сказать,

где заканчивается один конец и начинается другой. При таком малолюдье это, наверное, и не так важно.

Строить дом – трудное дело.

Вот ты решил преобразовать малую часть мира и из самородящихся стволов деревьев собрать себе гнездо, не только дающее тепло и защиту, но и воплощающее в себе твою скромную мечту. Ну или сотворить, построить или сочинить что-то иное, важное и сложное. Решил исполнить наконец своё мужское немудрёное предназначение, отбить себе прекрасный трофей у окружающего хаоса.

Но мир сопротивляется любым переменам, мир не хочет поддаваться нашим усилиям и преобразовываться во что-то осмысленное и красивое с нашей, человеческой точки зрения: гвозди гнутся, самые простые мысли не хотят формулироваться, работники, которых ты нанял тебе помогать, пьют и куражатся. Мир самодостаточно и туп. Ещё Мелвилл говорил о «всеобъемлющей безмятежной тупости этого видимого мира, который хоть и пребывает в непрерывном движении всевозможных видов, тем не менее сохраняет вечный покой и знать вас не желает, даже если вы роете фундаменты для Божьих соборов».

И мир, конечно, победит, постройки разрушатся, крапива или тёрн разрастутся на месте твоей усадьбы, но строительство дома, я считаю, возвышает человека, крепко и ласково привязывает его к этому тупому, но прекрасному миру, даёт иногда возможность воспарить и на короткие моменты испытать любовь к нему со всем его идиотизмом, великими идеями, бытовым насилием, социальными преобразованиями, условностями, гнуцимися гвоздями и пьяными помощниками, почувствовать и себя его неотъемлемой и необходимой частью.

Сначала на разровненном грейдером участке встала палатка, потом сколотилась бытовка, в которой можно было спать, готовить еду и хранить инструменты.

Мой дом начинался сразу с фундамента, без всяких чертежей и планов. Как только я узнал размеры сруба, который ждал меня за Инякино в селе Строевском, я начал рыть с Сашкой Зайцем траншею под фундамент.

Мне тогда впервые довелось испытать радость рытья нашего плотного, несколько пластилинового чернозёма, вообще радость рытья земли с помощью острой лопаты, уже прекрасно описанную в литературе, например у Александра Чудакова в книге «Ложится мгла на старые ступени». Но герой Чудакова, наученный лагерником, копавшим Беломорканал, и кочегаром с крейсера «Варяг», делал это профессионально, а я – непрофессионально, просто с душой и алкогольным азартом.

Поскольку плана я не составлял в своей начальной работе, даже не задумывался вперёд дальше одного шага, можно было весело раскидывать землю в любую сторону, иногда так счастливо вымётывать её из траншеи, что она перелетала на уже выкопанную часть.

Позже я, мучимый хорошими воспоминаниями, хотел испытать это удовольствие ещё раз и прорыл траншею под фундамент террасы и бани, но к тому времени я уже не пил, стал скучнее и предусмотрительнее. Землю приходилось сразу бросать в тачку, тачку отвозить за пределы участка и там опорожнять, и удаль, радостная трата сил от мощного швырка лопатой в любом удобном направлении не повторилась.

Заливка мне понравилась меньше, в памяти осталась лишь тяжёлая чугунная ванна, данная мне на время старым Карасём, в которой, стирая черенки лопат о борта, мы замешивали с Сашкой раствор.

Кирпичный цоколь возводил Юра Пеле из Сапожка, который всё время бодро кричал: «Грязи, негры! Грязи!».

а мы с Витей Лупаном месили цементный раствор в той же ванне и вёдрами, бегом относили ему требуемое. Вообще, работа в коллективе всегда выполнялась почему-то с максимальной скоростью: стоило мне привлечь каких-нибудь помощников, как мы начинали подгонять друг друга, не ходили, а семенили с тяжёлыми вёдрами, движения становились резкими, так что потом приходилось устраивать долгие перекуры и вести медленные, вдумчивые беседы. В один вечер мы так хорошо передохнули, что подрались.

За кирпичом мы ездили с шестилетним сыном в Можары, где во время великого переселения народов осела вялая или немощная часть венгров, отказавшихся от эмиграции в Европу. Милая учётица даже провела нам с ребёнком экскурсию по кирпичному заводу, и меня восхитили карусельки транспортёра, похожего на канатную дорогу, по которой вылепленные кирпичи переезжали в сарай с печью для обжига, а потом, обожжённые, вздувшиеся, как хлебная корочка, или полусырые, отправлялись на склад.

Сын воспринял кирпичный завод спокойнее.

Юра Пеле материл кирпичи, изготовителей и их мадьярских предков, но я думаю, это просто пижонство. Цоколь, возведённый Юрой со второй попытки из этих корявых кирпичей, стоит и пока не трескается, печка, сложенная из них покойным Мишкой Осиповым, обогревает дом и не дымит.

Сруб собирали пять узбеков из Ферганской долины. Они подкармливали меня похлёбкой из куриных окорочков и макарон, а я их возил на речку купаться. Самый молодой из них, Бабыр, из которого била молодая энергия, каждый день по несколько раз оглядывался с широкой улыбкой вокруг, обводил взглядом наши осокоря, шелепящиеся вдоль Кривелька, заросшие покосы, далёкую

насыпь дороги, по которой иногда проезжали машины, и восхищённо говорил: «Лето! Россия!» Видел бы он алтайские горы или поросшие белым мхом карельские каменные лбы над лесными озёрами – ещё не так запел бы! Но Бабыру было хорошо и от нашего кривельского ландшафта, и трудно было не присоединиться к этой незамысловатой радости. Я тоже оглядывался и тоже находил что-то хорошее – осокоря, заросшие покосы, насыпь дороги.

– У нас один очень хороший человек жил в селе, – рассказывал самый пожилой узбек, увидев, что я выбираю место для строительства сортира. – Все его уважали, семья большая была. Купил участок у другого человека. Там в одном месте раньше туалет стоял, потом сломали его, яму засыпали. И вот этот человек, купивший участок, не знал этого, пошёл, стал там копать и провалился в старую яму от туалета. И умер. Задохнулся в этом... жидком.

У всех моих узбеков стали очень серьёзные, даже сердитые лица. Они молчали.

– Бывает, – не зная, что сказать, ответил я.

– Не бывает, – строго одёрнул меня старший узбек. – Так очень нехорошо. Вроде такой хороший человек был, а так плохо умер!

Видно было, что они сильно не одобряют поступок этого несчастного человека.

Эта история на меня подействовала. Не в том плане, что я стал осторожнее работать лопатой, скорее я стал размышлять о том, что иногда даже случайностям нет оправдания, а долгая правильная жизнь не защитит тебя от тупости мира. Что кроме правильной жизни должно быть что-то ещё очень важное, а что – не знаю.

Как-то, ещё лет десять назад, на рыбалке я встретил бабку, идущую пешком вдоль поля на кладбище к мужу на могилку. Бабка несла банку с краской-серебрянкой

и кисточки. Муж, по её словам, был очень хороший человек, тихий, непьющий, честный такой.

«Повезло вам», – сказал я.

«Какое уж тут везение? Ни грехов, ни жизни!» – горько подвела свой итог бабка и пошла дальше в сторону кладбища.

Стройка продолжалась, плана не было, дом рос, как растут растения или грибы, строительные этапы иногда путались между собой, но всё же потихоньку сменяли друг друга, я настелил черновые и чистовые полы, утеплил потолок, вставил дверь и окна, и к зиме в доме можно было ночевать.

Моя давнишняя борьба с алкоголем как будто явилась одним из этапов строительства. Крещение в холодной реке не помогло. Сил не было, руки тряслись, по утрам одолевал холодный похмельный ужас, я надеялся, что этот, самый трудный этап создания дома будет последним, я брошу пить и спокойно, счастливо заживу в своём доме. Сейчас, спустя восемь лет, мне смешно смотреть на мою тогдашнюю наивность.

Дом никогда не перестаёт строиться, его нужно выращивать неустанно и заботливо. В этом деле, как и в борьбе с алкоголем, последний этап не наступает никогда.

Строительство дома – это подъём пешком вверх по бесконечному опускающемуся эскалатору. Ветры, солнце и другие погодные явления, птицы, мыши, гнилостные бактерии, люди (в том числе и ты сам), жуки-древоточцы потихоньку разрушают твой дом, а ты торопишься обогнать их, да ещё пристраиваешь себе террасу, баню, ковыряешься в огороде и травишь на картошке колорадских жуков, пилишь дрова, которые вылетают с дымом в трубу, выкашиваешь по два раза за лето двор, зарастающий терпеливыми, неутомимыми травами, чинишь бензопилу с культиватором и вытираешь руки промасленными тряпками.

Терраса, летний душ, карнизы для занавесок, полочки для посуды и особенно баня крепче привязывают любимую к этому месту, игровая площадка с лесенками и канатами на старом осокоре и отдельное помещение над баней делают дом уютнее для сына.

Но кое-где начинает подтекать крыша террасы, ураган роняет полста метров забора, мыши портят молодые яблони, землеройки портят грядки, птицы весной и осенью активно вытаскивают паклю из стен, пьяный Витя Мозоль сносит своим новеньким «опелем» столб ворот и портит колёсами клумбы, а в стенах твоего дома уже полным-полно жуков-древоточцев. Перед сном, лёжа в кровати ты слушаешь, как личинки этих жуков отсчитывают время, работая челюстями. Скорее всего, твой дом срублен из подсоченной сосны – сосны, у которой ещё на корню сдоили смолу.

Тебе начинает казаться, что ты тоже сделан из чего-то подсоченного, что отцовская крепость несколько не передалась тебе, что ты уже не такой, как раньше, и что в труху превращаются не только стены дома, но и твои мышцы и кости. Эти жуки очень ясно говорят о тщете и недолговечности. Приходится сражаться с ними.

Ты научился как дятел вертеть головой и с точностью до миллиметра определять местонахождение личинки, ты убил уже многих из них, тыкая в стены ножом. Ты перепробовал все растворы «Антижук», которые выпускает для тебя промышленность. Ты тоскливо заделываешь шпатлёвкой их ходы. Иногда хочется сдаться.

А потом, ночью ты вдруг мысленно отпиливаешь одну стенку у микроволновой печи, приставляешь эту печь к стене и прожариваешь личинок. Эврика или не эврика? Ты вскакиваешь, в одних трусах бежишь к компьютеру, гуглишь. И понимаешь, что не одинок – ты идёшь тем же

путём, которым прошли до тебя другие люди, успевшие даже выложить на Ютубе подробные рекомендации по уничтожению жуков-древоточцев с помощью микроволновки.

Вот и ещё одна призрачная победа.

Я покупаю старенькую печку, отпиливаю у неё одну стенку, за неделю напряжённой работы обрабатываю стены, жуки ненадолго затихают. Но через пару месяцев здесь и там снова слышится царапанье личинок.

По вечерам я устаю.

В любой работе важно найти свой ритм, свою скорость. Да и не только в работе, вообще – в жизни.

Мы нашли нашу общесемейную скорость в те два года, когда брали ребёнка на домашнее обучение. Это были его пятый и шестой классы. В эти два года я потихоньку построил баню.

Нас очень пугали, когда мы решили забрать сына из школы. Мы не чувствовали себя в достаточной мере специалистами, чтобы вести предметы, мы боялись, что ребёнок не сможет впоследствии как следует социализироваться. Но попробовали.

Сына мы обучали часа по три-четыре в день, каждый из нас по полтора-два часа. Не тратили время на то, чтобы возить его в школу и из школы, на родительские собрания, он не отвлекался во время занятий на одноклассников и нам не приходилось повторять с ним то, что объясняли ему на уроках. Школа не привязывала нас к своему расписанию. Три раза в год в Москве сдавали что-то вроде зачётов каждому учителю.

– Кто вам подсказал эту тему? Где вы её нашли? – возмущённо спрашивала меня учительница литературы.

– Я сам придумал. Считал, что это будет интересно.

– Кто вам сказал, что ребёнку нужно давать эту тему?

Наш ребёнок написал сочинение на тему «Как бы сложилась судьба Дубровского и Маши, если бы их отцы не поссорились?»

Дубровский остался в Петербурге, кутил, проводил много времени за карточным столом. Чтобы поправить финансовое положение женился по расчёту, но всё равно опять влез в долги. Потихоньку начал спиваться, к жене относился с презрением. Неожиданно увлёкся идеями декабристов, вступил в Северное общество, но по пути на Сенатскую площадь испугался, бросил товарищей, бежал из столицы, скрывался. Сколотил банду разбойников недалеко от поместья своего отца и грабил людей. Его поймали и судили. Маша не пострадала, с Дубровским её жизненные пути, по счастью, не пересеклись.

Сочинение показалось мне неплохим, тема раскрыта.

Мы жили в нашем, не самом быстром ритме, с нашей скоростью, и к седьмому классу из твёрдых троечников он поднялся до четвёрочников, смог выдержать отборочные испытания в хороший московский лицей (бывшую гимназию на Донской).

В свободное время сын убегал к фермерскому внуку, или тот приходил к нам в гости. Летом мы объявляли каникулы, но каждый вечер читали вслух. Ездили по окрестностям, посещали музеи, сходили втроём в байдарочный поход на Кольский полуостров.

Это были самые уютные и спокойные два года нашей жизни.

Позднее я прочитал, что для биологических и социальных систем нельзя совместить максимальную эффективность и максимальную адаптивность. Думаю, может, и ничего, что дали ребёнку немного побыть эффективным, забыв про адаптивность. Теперь в лицее он нормально чувствует себя в коллективе, с удовольствием ходит в школу, ездит с классом в походы и экспедиции.

Для строительства бани я уже не нанимал помощников, которые сбивали бы меня с выбранного темпа. И чугунную ванну для заливки фундамента уже не стал одалживать у дяди Коли Косорукова, купил бетономешалку.

Летом фундамент, зимой сборка сруба. Сруб рубили за Инякино – большой, пять на пять метров, с капитальной стеной посередине.

Первые четыре венца укладывал вручную, кантуя брёвна ломом, потом стало слишком тяжело.

Срезал берёзу у Чигарей – у них пруд зарастает, всё равно пилить будут. А мне берёза нужна на подъёмный кран. Кран вышел прочный, но тяжёлый, я устанавливал его полдня, ладил подпорки, которые рушились и били меня по голове, натягивал канат. Но потом кран был поднят, красивый такой (с моей точки зрения), с двумя уверенно расставленными ногами.

Отыскиваю нужное бревно (оно оказывается в самом низу штабеля), счищаю с него тупым топориком и скобелом намёрзший лёд, кантую ломом на нужное место. Долго, конечно, всё это.

Накидываю петлю, затягиваю. Иду к крану и вращаю ручку лебёдки, бревно ползёт по наклонным доскам вверх, на стену сруба. Деревянный, с джутовым канатом, кран от напряжения поскрипывает, как такелаж парусника.

Десять оборотов ручки – и я иду смотреть, как там брёвнышко, подправляю его ломом. Подкладываю под него полоску жести, чтобы полегче скользило. Потом обратно – вокруг растущего сруба моими ногами натоптана тропинка, она давно заледенела и стала скользкой. Погода – то мороз под тридцать, то снегопад, то оттепель.

Хожу туда и сюда раз десять. Наконец торец бревна с нарисованным номером появляется над стеной. Перевязываю стропу подальше, снова тяну. Кран поскрипывает, мороженая сосновая туша тяжело переваливается через

стену и ложится на сруб. Забираюсь наверх, сажусь верхом на стену и перевязываю стропу ещё раз.

Спрыгиваю на обледеневшую тропинку.

Плюсы и минусы возраста. Приземляться стал тяжело, что-то стрясывается внутри, как ртуть в термометре. Есть ещё выражение «грязнуться о землю», но это, я так понимаю, плашмя. Можно ли грязнуться стоймя?

Плюсов больше. Например, опыт и спокойная уверенность, что, будь твоё бревно даже и в полтонны, и в тонну, всё равно поднимем и уложим в нужное место. Потихоньку, полегоньку, где ломиком, где клинышком, где верёвкой, где подставочку подставим – передохнём. Главное – не торопиться, успевать думать, да и вокруг поглядывать, радоваться жизни и тому, что окружает эту жизнь.

Найдём, почуем у самой сложной задачи слабое место, где можно – покатаем, где нужно – надавим, только так, чтобы силы впустую не растрчивать, чтобы спину не сорвать.

Спина одна, а дел много. Доски, брус, кирпичи, бетонные блоки, утеплитель, мешки с цементом. Всё это сгружается и разгружается, носится по всему двору и складывается в штабеля, потом снова перетаскивается, укрывается брезентом или рубероидом. И уже не хочется теперь подпускать к такому интимному делу, как стройка, чужие руки.

Ещё огород, который живёт по своим законам, производит бешеное количество сорняков, собирает со всей округи кротов, бурозубок, ящериц, земляных жаб и загадочных земляных крыс, просит воды и вовлекает тебя в свой сложный и только кажущийся неторопливым ритм роста, цветения и плодоношения. Яблони, груши и алыча, которую нужно во время цветения укрывать; трава, которую нужно косить и куда-то потом девать; мыши, осы,

шершни и муравьи, которые занимают свою экологическую нишу внутри твоей экологической ниши, ползают, гудят и пугают любимую. Заготовка дров, грибов, полевой клубники, малины, обмазывание глиной потрескавшейся печки.

А ещё нужно работать, в конце концов, а ещё стопка нечитанных книг, ещё английский, география, история и литература с ребёнком.

Крутишься, крутишься, а времени не хватает. Поэтому вместо лопаты на огороде – культиватор, вместо ванны – бетономешалка, вместо ручного рубанка – электрический, вместо телевизора – спутниковый интернет.

Чуть подстучать колотом, подвинуть плечом – и бревно почти там, где нужно. Опять забираюсь наверх, снимаю стропу. Теперь, балансируя на досточке, засверливаю два верхних венца, вбиваю деревянный нагель, чтобы скрепить их.

Теперь укладываю паклю на нижнее бревно, приближаю её степлером, чтобы не унесло ветром. Ломиком перекантовываю бревно на две калабашки, оно теперь стоит прямо над тем местом, где ему лечь. Используя лом как рычаг, опять поднимаю каждый конец по очереди и выкидываю калабашки.

Легло. Чуть осаживаю колотом. Любуюсь, гордый.

Лежит. Круглые бока жирного бревна поблёскивают даже в свете серенького дня. Ещё ни одной трещинки, сырое, только из леса. Килограмм двести пятьдесят – триста.

Спина цела.

Лежит бревно, и остальные лягут, куда денутся? А там уже легче пойдёт – все эти стропила, обрешётка, железо.

Когда темнеет и работа моя останавливается, то я чувствую, как ноет тело. Перекусить и полчаса поспать, а потом уж всё остальное.

Обрешётку на крышу прибивали вместе с сыном и железо клали с ним. Нужно, наверное, приучать понемногу. Перестук молотков, когда один из них в руке наследника, греет мою душу.

Ему, одиннадцатилетнему, уже интересно строить с отцом, но только при условии, что работа опасна и мама боится. Едва высотные труды окончены, едва я отвязываю от него страховку, интерес теряется – мир деревяшек, стружек, гвоздей, мир, пахнувший смолой и мужским потом, слишком реален, чтобы захватывать мальчика надолго. Пощекотали маме нервы, папа порадовался – и будет. Ребёнок уходит обратно в мир фэнтези.

Виртуальные и выдуманные миры бесконечны и радостно плодятся сами собой. Наш – ненадёжен и конечен. Он не даёт уверенности, он хрупок и слишком мал – не развернуться толком.

Каким большим был мир в моём детстве! По бескрайним прериям скакали индейцы и любовались колышущимися стадами бизонов, дикари съедали английских капитанов, капитан Немо владел в одиночку всем подводным миром, а сибирские охотники своими немудрёными, заряжавшимися с дула винтовками промышляли медведей и ладили деревянные кулёмки на пушного зверя. Такой мир приятно наследовать и исследовать.

Можно летом разорять из интереса птичьи и мышиные гнёзда, часами смотреть на поплавок в ожидании неведомой добычи или наблюдать за битвами рыжих и чёрных муравьёв, раскапывать кротовые норы и прорубать запутанные ходы в крапиве или лопухах. В городе можно осваивать крыши, чердаки, подвалы и свалки Замоскворечья по пути из школы домой. Можно собирать монеты или марки далёких стран, мастерить рогатки и самопалы для будущих экспедиций в неведомое. Можно чуть подрасти и радостно начать менять мир – завоёвывать и покорять

его, использовать и переделывать под себя, изучать его законы, обычаи и языки населяющих его народов, если есть охота – устраивать революции, войны против несправедливости, основывать города или заводы, прокладывать новые магистрали, в конце концов просто строить бани и дома из толстых, ещё почти живых смолистых брёвен.

А когда мы плавали бить китов,
когда о нас плакали столько вдов, –
то при каждой был дороге Христос на крестах,
и на каждом был пороге маркиз в кружевах,
и была святая Дева, и был король!

Так писал Поль Фор.

За время, прошедшее с моего книжного детства, население нашей планеты удвоилось, а расстояния уменьшились. Мир съёжился, его рукава стали коротки для моего правильно воспитанного долговязого мальчика.

Природа требует охраны, животные требуют гуманного отношения, люди требуют толерантности, леса горят, вода в четырёх заливах Байкала стала опасна для питья, издох в зоопарке последний белый носорог.

Скотобойни становятся всё современнее и эффективнее. Батюшки в церквях говорят, что стали подавать много записок о здравии домашних четвероногих питомцев. Треть продовольственных продуктов в развитых странах выбрасывается.

Международные аэропорты и рестораны Макдональдс везде одинаковы, собирать банковские карты далёких стран неинтересно. В нашей речке уже не так много рыбы, а раки, жившие в таинственных подводных норах, вывелись. На самых далёких от дорог опушках леса, куда я устраиваю мальчику маленькие экспедиции, трава примята колёсами квадроциклов. А звёзды и неоткрытые планеты так и не стали ближе.

А теперь на белом свете всем хорошо,
не печалуйся, матросик, нынче всем хорошо –
ни Христов на крестах, ни маркизов в кружевах,
и во Франции республика, и в Париже президент,
только нет,
только нет ни единого кита!

Чудеса выдавились в гетто Хогвартса, свободное пространство для манёвра – в менее населённые виртуальные вселенные. И, чтобы не портить глаза за экраном, наш послушный мальчик освоил настольную коллекционную игру «Мэджик», по которой пишут книги, по которой устраиваются турниры, которая имеет огромное множество миров поинтереснее нашего пустеющего.

Недавно на одной из игровых карточек сына я увидел вполне себе нормального левиафана, возможно, он даже превосходит наших размерами. И его совсем не нужно охранять и беречь, этого выдуманного кита.

По воскресеньям в Сапожке рынок. С раннего утра и до полудня обочины дороги в бывшей Пушкарской слободе у съезда на рыночную площадь (точнее, асфальтированную площадку) густо уставлены машинами. Любимой очень нравится, когда я вывожу её туда. Сама ездить любит гораздо меньше, рынок – дело семейное. Поздоровается с кем-нибудь, её обязательно спросят, а что же она одна приехала?

Другое дело, когда я несу пакеты с покупками, тоже останавливаюсь, ручкаюсь со знакомыми, перешучиваюсь. Так, не торопясь, приглядываясь к товарам и людям, проходим до мясных крытых рядов, где иногда вперемишку с покупателями бродят куры и хромые собаки, а потом, совершая основные покупки, постепенно возвращаемся к выходу.

Женщины переговариваются необыкновенно звонкими, свободными, не городскими какими-то голосами,

мужчины в тёплых рыбацких сапогах и камуфляжных куртках тяжело скрипят снегом. Блестят люрексом и пайетками на тугой джинсе школьницы, сопровождаемые полными мамами, деловито мелькают худые тёмные цыганки в длинных платьях, с пустыми руками, без обычных для женщин сумочек.

Любимой нравится домашний пористый сыр, домашнее масло и творог у одной женщины, бочковая селёдка у другой, печенье у третьей, нравится запастись костями и необыкновенно дешёвыми обрезками говядины для собаки, пробовать копчёности или колбасу, она долго выбирает цветы, саженцы или семена. Её восхищает, что можно заказать знакомой продавщице джинсы для нашего худого, долговязого подростка и не тратить время, мотаясь по московским торговым центрам, где ребёнок всегда тонет в одежде подходящей ростовки.

Моей любимой, как и мне, кажется, что продукты питания здесь здоровее, вкуснее и дешевле. Картошка-морковка-лук-чеснок свои, без химии, соленья-варенья тоже, хлеб хрустит и пахнет, вода родниковая, молоко летом сын берёт у фермера, яйцами снабжают соседи и дядька. На магазины тратится гораздо меньше времени. Но у всего свои минусы, от здешней еды постоянно пучит. «Рязань косопузая!» – жалуется любимая, держась за живот.

После рынка мы обычно заезжаем в магазин «Бакс» или в «Пятёрочку» за чаем, кофе и крупами. Всё это возле центральной площади с круговым движением вокруг скверика и Ленина на трибуне с поднятой рукой. Скверик расположен на месте разобранного на кирпичи Успенского собора. Хлеб берём в скитской пекарне. Йогурты, кефир, ряженку покупаем в магазинчике, торгующем продукцией Старожиловского комбината.

В этом Старожилово, как и в Сохе, и в Кирицах остались постройки, возведённые железнодорожными магнатами фон Дервизами. В Старожилово – конный завод, в Сохе –

усадыба и конный двор, в Кирицах – целый дворец, на ступенях которого Золушка теряла свою туфельку в старом чёрно-белом фильме. Старший фон Дервиз не побоялся вложить деньги в такое новое дело, как железные дороги, и стал миллионером, построив рязанскую чугунку.

Сапожковские купцы собирались и к себе железную дорогу тянуть от Шилова, проект заказали. Город бы, конечно, поднялся, но строительству помешала война с Германией. Так и осталось в Сапожке три тысячи населения – что сейчас, что сто пятьдесят лет назад.

Пробовали мы пару раз заезжать на Шиловский рынок, который работает по субботам, но любимая говорит, что там ей совершенно не нравится – всё какое-то не своё, чужое.

А Сапожковский рынок – своё? «Своё», – отвечает. Наш дом, стоящий посреди этого нового для наш ландшафта, ландшафта, ставшего для нас «кормящим и вмещающим», делает некоторые вещи совершенно своими для моей привередливой и разборчивой любимой, горожанки, психотерапевта, сибирячки, в которой течёт половина русской и половина бурятской крови.

Своими для неё уже стали древние городища и рыночек в Сапожке, места на бугре, где растут рыжики, подосиновики или белые, просёлочные дорожки вдоль Пары, где мы по осени мешками собираем вкусные дикие яблоки на сушку и на пастилу. У неё даже появилась любимая заправка «ТНК» в Кораблино, где она обязательно останавливается по пути из Москвы, где всегда мало народа и вкусный кофе. Есть у неё свои места, где она рвёт щавель и одичавший чеснок, полевую клубнику и землянику, есть бывший хутор Ляпилиных, где она срезает для букетов белую и голубую сирень.

Есть в округе места для того, чтобы просто посидеть и полюбоваться, есть места, где мы бываем только в определённое время, например, возле Попова озера весной,

где слушаем, как мощно и смешно кричит, будто дудит в горлышко огромной бутылки выпь, «бучал» по-местному. Есть лисьи и барсучьи норы, возле которых мы ставим иногда фотоловушки, есть гнёзда канюков, есть висячие, похожие на дамские несессеры гнёздышки ремеза. Есть болотца с огромными жёлтыми ирисами, есть на поле куртинка белых, бездумно танцующих ветрениц или анемонов, которых мы всё собираемся перенести и к себе на участок. Есть укромные поляны между берёзовыми островками леса, где из-под лыж с шумом взлетают из снега тетерева, есть посадки, возле которых устраивают свадьбы и лопочут зайцы.

Мы это всё открыли и присвоили за прошедшие восемь лет.

В пределах нашей ограды мы насадили яблонь, груш, алычи, ёлок и разных кустов, за оградой – сосны, липы, осины и клёны. Воткнули даже дуб, который за это время вырос совсем ненамного, но который когда-нибудь, лет через триста, надеемся, станет не хуже сторожевого, с круглой пышной кроной. Дуб попался странный: свои заржавевшие жестяные листья он сбрасывает только весной, перед тем как раскроются новые почки, и всю зиму стойко с пышной шевелюрой, шуршит листвой на ветру.

Выходя вечером из нашего деревянного дома, глядим от крыльца, как весь наш видимый мир потихоньку вертится вокруг Полярной звезды – Золотой Коновязи, как называют её буряты. Нам нравится мысленно оглядывать ближние и дальние окрестности. Мир вращается вокруг Золотой Коновязи и нашего домика, на который она нацелена, воткнутая в небо. Видно, как Большая Медведица, привязанная к ней на коротком аркане, снимает своей шумовкой звёздную пену с неба. Или это карельский Сохатый ходит, ане Медведица? Или это вообще идут Семь Ханов, как называют эти семь звёзд на Алтае?

«Дерево всегда посередине всего, что его окружает», – писал Рильке. И в этом приятное преимущество моей растительной деревенской жизни. Я залил фундамент и пустил корни, определил для себя центр мира, теперь меня не пугает моя ничтожность, когда я задираю голову к звёздам или читаю новости в интернете.

Солнечный, масляный Алтай и пронзительное беломорское побережье, претендовавшие раньше на звание центра нашего мира, заняли свою удалённую орбиту и красиво плывут вокруг нас вдалеке. Радостно сияет за три тысячи километров от любимой её родной Новосибирск, издали мне светит Камчатка с мысом Угольным в Пенжинской губе и с заливом Корфа, где я провёл прекрасные месяцы своей жизни.

Мощно пульсирует в трёхстах километрах отсюда моя родная, капризная Москва, устраивает во мне приливы и отливы настроения и энергии. Но всё же я верю, что она крутится вокруг построенного, почти что выращенного мной дома на берегу Кривелька, а не наоборот. Хотя иногда, конечно, и возникают сомнения.